



• ДУХОВНЫЙ ПУТЬ •

«ПАСХАЛЬНЫЕ КОЛОКОЛА»

и другие рассказы



Духовный путь

Сборник
**«Пасхальные колокола»
и другие рассказы**

«Просвещение»

2013

Сборник

«Пасхальные колокола» и другие рассказы / Сборник —
«Просвещение», 2013 — (Духовный путь)

Эта книга рассказывает о том, какой была век назад русская Пасха – главный праздник христианского богослужебного года....Крестный ход с громкими пениями, пасхальная заутреня, обряд христосования, Благодатный огонь, куличи, творожные Пасхи и яйца, хороводы и игры – все это под церковный перезвон, который выражает радость Воскресения Христа из мертвых.«Пасхальные колокола» – подробное собрание рассказов русских классиков о празднике праздников, торжестве из торжеств.

Содержание

Андрей Муравьев. Пасха в Кремле	5
Николай Гоголь. Светлое Воскресение	9
Федор Достоевский. Мужик Марей	15
Дмитрий Григорович. Светлое Христово Воскресение	19
Конец ознакомительного фрагмента.	23

«Пасхальные колокола» и другие рассказы

...День этот есть тот святой день, в который празднует святое, небесное свое братство все человечество до единого, не исключив из него ни одного человека.

Николай Гоголь, «Светлое Воскресение»

Андрей Муравьев. Пасха в Кремле

Доколь стоит Капитолий, будет стоять Рим; доколь стоит Рим, будет стоять и вселенная! Так выражалась древняя пословица о всемирной державе Римской. Столь же пламенное, но освященное верою Христовой чувство любви к земной своей родине невольно наполняет сердце и, от избытка сердца, изливается устами русского: «Доколь стоит Кремль, будет стоять Москва; доколь стоит Москва, будет стоять Святая Русь, а с нею и Православие!» И не напрасно еще древние летописцы наши называли Первопрестольную столицу, наследовавшую славу Царьграда, третьим Римом. Стоит только ступить на священную высоту Кремля и окинуть изумленным взором живописную окрестность, дабы не только чувствовать, но и верить, что здесь воистину сердце Руси, ибо от сего дивного средоточия разбегаются во все ее оконечности благословенные ее пути из-под соборной сени древних святынь и сюда опять стекаются они, от всех неизмеримых ее пределов, как обращение крови в теле человеческом жилами сосредоточивается в сердце. Потому так сильно и бьется оно, когда приближается к сему заветному сердцу всея Руси, которое само с нежностью материнскою бьется для каждого из сынов своих и всегда готово отозваться на каждый зов их, приемля живое участие в их сердечной радости и горе.

Этот Кремль, столько раз виденный мною и в красноречивом его безмолвии, и в благолепии духовных его торжеств, теперь впервые случилось мне видеть в священные дни Страстной недели и Пасхи, когда он облекается всем своим заветным величием и еще сильнее говорит душе, потрясенной воспоминаниями о распятом и воскресшем Господе. Еще исполненный сих впечатлений, пишу тебе, любезный друг, чтобы передать их тебе во всей свежести и вместе с тем пожалеть, что до сих пор ты добровольно лишал себя сего наслаждения духовного; и сколько из нас, проведя всю свою жизнь подле своей родной святыни, так и сойдут в могилу, не полюбившись даже, что совершается внутри сего дивного Кремля в священную ночь Пасхи и о чем так торжественно гласит он стоящим звуком своих колоколов...

Вот приблизилась заветная ночь! Я желал насладиться ею во всем ее величии, внешнем и духовном, и поспешил в Кремль. Вместе с бывшим владетельным князем сербским Михаилом, который посетил древнюю столицу нашу с той же церковной целью и утешался в ней торжеством Православия, мы вошли на балкон Малого дворца, чтобы окинуть взорами все Замоскворечье. Картина сия была достойна изумления. Багровая луна, только что поднявшаяся из-за небосклона, висела, как яблоко, на юго-восточной башне Кремля, слабо освещая обширную панораму, которая развивалась перед нами; в сумраке нельзя было ясно различить предметов, но темные бойницы обозначали кремлевскую ограду. На бесчисленных колокольнях Замоскворечья начинали мало-помалу загораться огни, знаменовавшие светлое торжество: на каждой из них, даже до дальней колокольни Симонова монастыря, сияли сии пасхальные венчики, своенравно рассеянные в воздухе по разнообразной высоте башен. С того возвышения, где мы стояли, глаза наши разбегались во все стороны, и нельзя было определить, какая, собственно, стихия колебалась перед нами в сумраке, вся проникнутая яркими огнями. Казалось, еще тысячи звезд зажглись в воздухе, и только багровый огонь отличал их от небесного света настоящих светил; казалось, звездное небо отразилось в некоем море, внезапно подступившем

к священной ограде Кремля, на место убогой его реки. Исполин кремлевский уже был увенчан огненным двойным венцом, освещая вокруг себя обступившие его соборы.

Посреди таинственной тишины сей многоглагольной ночи внезапно с высоты Ивана Великого, будто из глубины неба, раздался первый звук благовести – вещий как бы зов архангельской трубы, возглашающей общее воскресение; но теперь она возвещала только восстание одного Божественного мертвеца, который поправил смертью смерть. И вот при первом знаке, данном из Кремля, мгновенно послышались тысячи послушных ему колоколов, и медный рев их исполнил воздух, плавая над всей столицей; она была объята сим торжественным звоном, как бы некой ей только свойственной атмосферой, проникнутой священным трепетом потрясаемой меди и радостью благовестуемого торжества. Слышало ухо и не могло насытиться сей дивной гармонией будто бы иного, надоблачного мира; смотрело око и не могло наглядеться на зрелище священных огней, горевших в небе, а сердце человека не могло вместить в себя всей духовной радости – примирения неба и земли.



Московский Большой Успенский собор

Но время было спешить в Успенский собор для божественной службы. Уже внесена была мертвенная плащаница в алтарь при пении погребального канона Великой Субботы. И вот

исходит из алтаря Святитель в светлых ризах, с сонмом священнослужителей, поющих: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесах, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славить». Ангелы уже поют Воскресение, земля же еще безмолвствует, ибо к нам позже пришла сия радостная весть от ангелов. Как бы исполненные их видением в алтаре, где положена плащаница вместо нового гроба на престол, исходят, в чине ранних мироносиц, священнослужители; вне храма разрешится устами их великая тайна, ибо теперь еще знаменуется во мраке таинственное сошествие во ад Господа для изведения душ праотцев. При гласе всех колоколов Кремля, со всей заветной святыней собора и с животворящим крестом в руке митрополит обошел соборный храм, и вся площадь кругом его, исполненная народом, обратилась в один храм: как будто расступились вековые стены трех смежных соборов и они соединились в одно святилище, осененное вместо купола звездным небом. В ту же минуту совершалось шествие вокруг Архангельского и Благовещенского соборов, на той же площади, горевшей бесчисленными огнями, и не погасла ни одна свеча в руках народа – такая тишина царствовала в воздухе. Нет слов на языке человеческом, чтобы выразить сие таинственное безмолвие, исполненное чаянием оживающей земли. Когда же, в знамение Светлого Воскресения, владыка раздал свечи своим сослужителям у западных врат и, осенив врата знамением креста, впервые возгласил: «Христос воскрес!» – при громком пении сего торжественного гимна отверзлись заключенные врата; казалось. Восток свыше осиял всех изнутри ярко освещенного храма; все устремились вовнутрь его, как бы в тесные врата Небесного царства, уже отверстого для нас на земле; немой восторг проговорил слезами, и два только божественных слова: «Христос воскрес!» – могли выразить тайну неба и земли.



Чудов монастырь в Кремле. Начало XX в. Полностью снесен в 1929–1930 гг.

Кто не видал пасхальной утрени в кремлевском соборе, не может представить себе всего величия сей церковной службы, сколь ни возвышенна она сама по себе и при малейшем благолепии. Кремль для нее создан, и она – для Кремля, ибо здесь благоприятствует и местность, и святыня, и самый глас Ивана Великого, звучащий неземным. Торжественны были каждения митрополита и после него двенадцати архимандритов и пресвитеров при каждой песни пасхального канона с непрестанным приветствием: «Христос воскрес!»; умилительно целование их с властями и народом, и назидательно слово Златоуста, приглашавшего к общей радости, которое произнес владыка вместо самого Иоанна: «Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества; аще кто раб благоразумный, да внидет, радуясь, в радость Господа своего». Где, в какой Церкви есть что-либо подобное торжеству сему, вполне достойному дивного события? Бледен Рим с его внешней картинностью папских служений,

из числа коих исключена пасхальная утренья! И протестанты, чуждающиеся всего внешнего в Церкви, чувствуют сиротство свое в сию великую ночь Пасхи и притекают в наши храмы искать того утешения, которого сами себя лишили.

Три часа спустя после утрени началась литургия, не менее торжественная по благолепию утвари церковной и числу священнослужителей и усердию народа, наполнявшего храм. При звуке колокола Евангелие возглашалось в алтаре всеми архимандритами и пресвитерами и четырьмя диаконами в церкви, по четырем странам света, как бы во услышание всея Руси из ее первопрестольного собора; оно читалось на языках греческом и славянском – в знамение родственного союза Церквей.

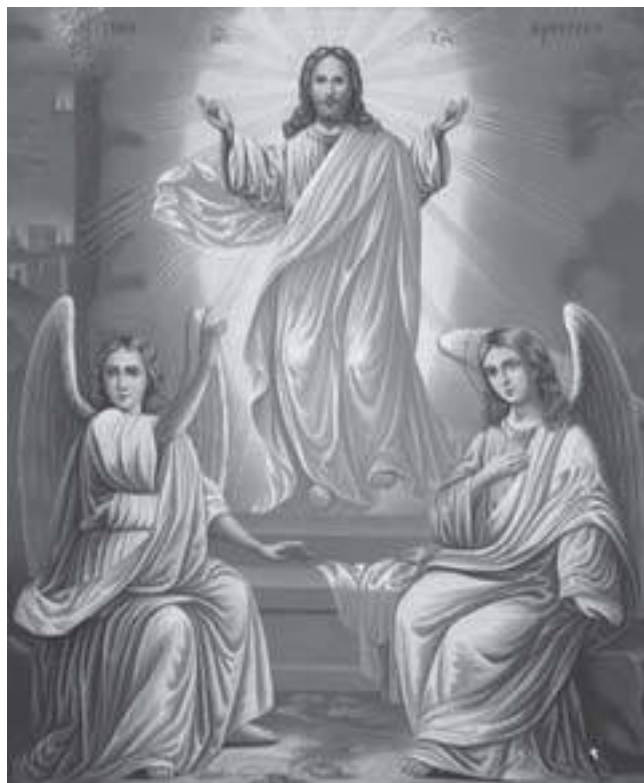
После божественной службы в скромных покоях настоятеля Чудовского монастыря (ибо митрополит есть вместе и архимандрит сей кафедральной обители) все духовенство, предстоявшее с ним у алтаря, соединилось, чтобы разговеться вместе со своим владыкою. К вечерне опять собрались в Успенском храме, и служба была еще торжественнее по числу архимандритов, ибо все находящиеся в Москве соединились, чтобы участвовать в общей радости великого дня. Великолепно было зрелище сего митроносного сонма, когда обступил он амвон, с которого Святитель лицом к народу читал Евангелие от Иоанна о явлении воскресшего Господа ученикам Своим. Трогательно было видеть и всенародное христосование со всей паствой, ибо, несмотря на слабость и утомление от тройной службы – утрени, литургии и вечерни, – владыка не лишил братского целования ни одного из предстоявших в храме, и все стремились лобзать своего архипастыря. Спрошу опять: где, в какой Церкви можно найти такой умирительный обычай, соединяющий во Христе пастыря с пасомыми истинным братством, основанным на благоговейной любви?

Вот я описал торжество Светлой седмицы посреди заветной святыни Кремля, где я был столько же поражен величием богослужения, сколько и благоговением народа к своей древней родовой святыне. Здесь истинная твердыня Руси – ее незыблемое Православие, и с ним устоит она против всех внешних бурь, ибо Церковь ее основана на твердом камне веры.

Скажу в окончание то же, чем начал: «Доколь стоит Кремль, будет стоять Москва; доколь стоит Москва, будет стоять Русь, а с нею Православие».

Николай Гоголь. Светлое Воскресение

В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресения. Он это чувствует живей, если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней – те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выражение на лицах, он чувствует грусть и обращается невольно к России. Ему кажется, что там как-то лучше празднуется этот день, и сам человек радостней и лучше, нежели в другие дни, и самая жизнь какая-то другая, а не повседневная. Ему вдруг представится – эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который как всю землю сливает в один гул, это восклицанье «Христос воскрес!», которое заменяет в этот день все другие приветствия, этот поцелуй, который только раздается у нас, – и он готов почти воскликнуть: «Только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться!» Разумеется, все это мечта; она исчезает вдруг, как только он перенесется на самом деле в Россию или даже только припомнит, что день этот есть день какой-то полусонной беготни и суеты, пустых визитов, умышленных незаставаний друг друга, наместо радостных встреч, – если ж и встреч, то основанных на самых корыстных расчетах; что честолюбие кипит у нас в этот день еще больше, чем во все другие, и говорят не о воскресении Христа, но о том, кому какая награда выйдет и кто что получит; что даже сам народ, о котором идет слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный попадает на улицах, едва только успела кончиться торжественная обедня, и не успела еще заря осветить земли. Вздохнет бедный русский человек, если только все это припомнит себе и увидит, что это разве только карикатура и посмеянье над праздником, а самого праздника нет. Для проформы только какой-нибудь начальник чмокнет в щеку инвалида, желая показать подчиненным чиновникам, как нужно любить своего брата, да какой-нибудь отсталый патриот, в досаде на молодежь, которая бранит старинные русские наши обычаи, утверждая, что у нас ничего нет, прокричит гневно; «У нас все есть: и семейная жизнь, и семейные добродетели, и обычаи у нас соблюдаются свято; и долг свой исполняем мы так, как нигде в Европе; и народ мы на удивленье всем».



Воскресение Христово. 1895 г.

Нет, не в видимых знаках дело, не в патриотических возгласах и не в поцелуе, данном инвалиду, но в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека, как на лучшую свою драгоценность, – так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал. Еще сильнее! Еще больше! Потому что узы, нас с ним связывающие, сильнее земного кровного нашего родства, и породнились мы с ним по нашему прекрасному небесному отцу, в несколько раз нам ближайшему нашего земного отца, и день этот мы – в своей истинной семье, у него самого в доме. День этот есть тот святой день, в который празднует святое, небесное свое братство все человечество до единого, не исключив из него ни одного человека.

Как бы этот день пришелся, казалось, кстати нашему девятнадцатому веку, когда мысли о счастье человечества сделались почти любимыми мыслями всех, когда обнять все человечество, как братьев, сделалось любимой мечтой молодого человека, когда многие только и грезят о том, как преобразовать все человечество, как возвысить внутреннее достоинство человека, когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христианство в силах это произвести, когда стали утверждать, что следует ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт, когда стали даже поговаривать о том, чтобы все было общее – и дома и земли, когда подвиги сердоболия и помощи несчастным стали разговором модных гостиных, когда, наконец, стало тесно от всяких человеколюбивых заведений, странноприимных домов и приютов. Как бы, казалось, девятнадцатый век должен был радостно восприимчиво встретить этот день, который так по сердцу всем великодушным и человеколюбивым его движениям! Но на этом-то самом дне, как на пробном камне, видишь, как бледны все его христианские стремления и как все они в одних только мечтах и мыслях, а не в деле. И если в самом деле придется ему обнять в этот день своего брата, как брата, – он его не обнимет. Все человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятие, один человек, его оскорбивший, которому повелевает

Христос в ту же минуту простить, – он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, несогласный с ним в каких-нибудь ничтожных человеческих мнениях, – он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, страждущий видней других тяжелыми язвами своих душевных недостатков, больше других требующий сострадания к себе, – он оттолкнет его и не обнимет. И достанется его объятие только тем, которые ничем еще не оскорбили его, с которыми не имел он случая столкнуться, которых он никогда не знал и даже не видел в глаза. Вот какого рода объятие всему человечеству даст человек нынешнего века, и часто именно тот самый, который думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершенный христианин! Христианин! Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, наместо того, чтобы призвать его к себе в дома, под родную крышу свою, и думают, что они христиане!

Нет, не восприздновать нынешнему веку светлого праздника так, как ему следует восприздноваться. Есть страшное препятствие, есть непреодолимое препятствие, имя ему – гордость. Она была известна и в прежние веки, но то была гордость более ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богатствами своими, гордость родом и званием, но не доходила она до того страшного духовного развития, в каком предстала теперь. Теперь явилась она в двух видах. Первый вид ее – гордость чистотой своей.

Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось в чистоту и красоту свою. Никто не стыдится хвастаться публично душевной красотой своей и считать себя лучше других. Стоит только приглядеться, каким рыцарем благородства выступает из нас теперь всяк, как беспощадно и резко судит о другом. Стоит только прислушаться к тем оправданиям, какими он оправдывает себя в том, что не обнял своего брата даже в день Светлого Воскресения. Без стыда и не дрогнув душой, говорит он: «Я не могу обнять этого человека: он мерзок, он подл душой, он запятнал себя бесчестнейшим поступком; я не пущу этого человека даже в переднюю свою; я даже не хочу дышать одним воздухом с ним; я сделаю крюк для того, чтобы объехать его и не встречаться с ним. Я не могу жить с подлыми и презренными людьми – неужели мне обнять такого человека как брата?» Увы! позабыл бедный человек девятнадцатого века, что в этот день нет ни подлых, ни презренных людей, но все люди – братья той же семьи, и всякому человеку имя брат, а не какое-либо другое. Все разом и вдруг им позабыто: позабыто, что, может быть, затем именно окружили его презренные и подлые люди, чтобы, взглянув на них, взглянул он на себя и поискал бы в себе того же самого, чего так испугался в других. Позабыто, что он сам может на всяком шагу, даже не приметив того сам, сделать то же подлое дело, хотя в другом только виде, в виде, не пораженном публичным позором, но которое, однако же, выражаясь пословицей, есть тот же блин, только на другом блюде. Все позабыто. Позабыто им то, что, может, оттого развелось так много подлых и презренных людей, что сурово и бесчеловечно их оттолкнули лучшие и прекраснейшие люди и тем заставили душе ожесточиться. Будто бы легко выносить к себе презренье! Бог весть, может быть, иной совсем был не рожден бесчестным человеком; может быть, бедная душа его, бессильная сражаться с соблазнами, просила и молила о помощи и готова была облобызать руки и ноги того, кто, подвигнутый жалостью душевной, поддержал бы ее на краю пропасти. Может быть, одной капли любви к нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будто бы дорогой любви было трудно достигнуть к его сердцу! Будто уже до того окаменела в нем природа, что никакое чувство не могло в нем пошевелиться, когда и разбойник благодарен за любовь, когда и зверь помнит ласкавшую его руку! Но все позабыто человеком девятнадцатого века, и отталкивает он от себя брата, как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего. Ему нет дела до страданий его; ему бы только не видеть гноя ран его. Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, чтобы не поразилось обоняние его смрадным дыханием уст несчастного, гордый благоуханием чистоты своей. Такому ли человеку восприздновать праздник небесной любви?

Есть другой вид гордости, еще сильнее первого, – гордость ума. Никогда еще не возрасла она до такой силы, как в девятнадцатом веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. Все вынесет человек века: вынесет название плута, подлеца; какое хочешь дай ему название, он снесет его и только не снесет название дурака. Над всем он позволит посмеяться и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его для него – святыня. Из-за малейшей насмешки над умом своим он готов сию же минуту поставить своего брата на благородное расстояние и посадить, не дрогнувши, ему пулю в лоб. Ничему и ни во что он не верит; только верит в один ум свой. Чего не видит его ум, того для него нет. Он позабыл даже, что ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке, и стоит без движения и даже идет назад, когда не возвышаются нравственные силы. Он позабыл и то, что нет всех сторон ума ни в одном человеке; что другой человек может видеть именно ту сторону вещи, которую он не может видеть, и, стало быть, знать того, чего он не может знать. Не верит этому, и все, чего не видит он сам, то для него ложь. И тень христианского смирения не может к нему прикоснуться из-за гордыни его ума. Во всем он усомнится: в сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в Боге усомнится, но не усомнится в своем уме. Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей – нет, не чувственные страсти, но страсти ума уже начались: уже враждуют лично из несходства мнений, из-за противоречий в мире мысленном. Уже образовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных сношений еще не имевшие и уже друг друга ненавидящие. Поразительно: в то время, когда уже было начали думать люди, что образованием выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир – дорогой ума, и на крыльях журнальных листов, как всепогубляющая саранча, нападает на сердца людей повсюду. Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинают говорить ложь противу собственного убеждения, из-за того только, чтобы не уступить противной партии, из-за того только, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке – уже одна чистая злоба воцарилась наместо ума.

И человеку ли такого века уметь полюбить и почувствовать христианскую любовь к человеку? Ему ли исполниться того светлого простодушия и ангельского младенчества, которое собирает всех людей в одну семью? Ему ли услышать благоухание небесного братства нашего? Ему ли восприимчивать этот день? Исчезнуло даже и то наружно добродушное выражение прежних простых веков, которое давало вид, как будто бы человек был ближе к человеку. Гордый ум девятнадцатого века истребил его. Дьявол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим; глупейшие законы дает миру, какие доселе еще никогда не давались, и мир это видит и не смеет послушаться. Что значит эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что есть главнейшего и лучшего в человеке? Никто не боится преступить несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа и между тем боится не исполнить ее малейшего приказанья, дрожа перед нею, как робкий мальчишка. Что значит, что даже и те, которые сами над нею смеются, пляшут, как легкие ветреники, под ее дудку? Что значат эти так называемые бесчисленные приличия, которые стали сильнее всяких коренных постановлений? Что значат эти странные власти, образовавшиеся мимо законных, – посторонние, побочные влияния? Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а божие помазанники остались в стороне? Люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мнениями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу нечистая сила, и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться?

Что за страшная насмешка над человечеством! И к чему при таком ходе вещей сохранять еще наружные святыне обычаи церкви, небесный хозяин которой не имеет над нами власти? Или это еще новая насмешка духа тьмы? Зачем этот утративший значение праздник? Зачем он вновь приходит глуше и глуше скликать в одну семью разошедшихся людей и, грустно окинувши всех, уходит как незнакомый и чужой всем? Всем ли точно он незнаком и чужд? Но зачем же еще уцелели кое-где люди, которым кажется, как бы они светлеют в этот день и празднуют свое младенчество, то младенчество, от которого небесное лобзание, как бы лобзание вечной весны, изливается на душу, то прекрасное младенчество, которое утратил гордый нынешний человек? Зачем еще не позабыл человек навеки это младенчество и, как бы виденное в каком-то отдаленном сне, оно еще шевелит нашу душу? Зачем все это и к чему это? Будто неизвестно зачем? Будто не видно, к чему? Зачем, чтобы хотя некоторым, еще слышащим весеннее дыхание этого праздника, сделалось бы вдруг так грустно, так грустно, как грустно ангелу на небе. И, завопив раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам своих братьев, умоляя хотя бы один этот день вырвать из ряда других дней, один бы день только провести не в обычаях девятнадцатого века, но в обычаях вечного века, в один бы день только обнять и обхватить человека, как виноватый друг обнимает великодушного, все ему простившего друга, хотя бы только затем, чтобы завтра же оттолкнуть его от себя и сказать ему, что он нам чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать так, хотя бы только насильно заставить себя это сделать, ухватиться бы за этот день, как утопающий хватается за доску! Бог ведь, может быть, за одно это желание уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая взлететь по ней.

Но и одного дня не хочет провести так человек девятнадцатого века! И непонятной тоской уже загорелась земля; черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! Пусто и страшно становится в твоём мире!

Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется как следует и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носят по лицу земли нашей: раздаются слова: «Христос воскрес!» – и поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гудят по всей земле, точно как бы будят нас? Где носят так очевидно призраки, там недаром носят; где будят, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, затем чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее – и праздник Светлого Воскресения восприздается как следует прежде у нас, чем у других народов! На чем же основываясь, на каких данных, заключенных в сердца наших, опираясь, можем сказать это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» – вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней. Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа, – доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой его слово, что есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословья против сословья и тех озлобленных пар-

тий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреодолимое к соединению людей и братской любви между ними, что есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная, и если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросив с себя вдруг и разом все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли дома свои и земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды – все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия один человек. Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник Воскресения Христова воспризднуется прежде у нас, чем у других. И твердо говорит мне это душа моя, и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушеньем Божиим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих на разных концах земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспризднуется Святое Воскресение Христово!»

Федор Достоевский. Мужик Марей

Но все эти professions de fois я думаю, очень скучно читать, а потому расскажу один анекдот, впрочем, даже и не анекдот; так, одно лишь далекое воспоминание, которое мне почему-то очень хочется рассказать именно здесь и теперь, в заключение нашего трактата о народе. Мне было тогда всего лишь девять лет от роду... но нет, лучше я начну с того, когда мне было двадцать девять лет от роду.

Был второй день светлого праздника. В воздухе было тепло, небо голубое, солнце высокое, «теплое», яркое, но в душе моей было очень мрачно. Я скитался за казармами, смотрел, отсчитывая их, на пали крепкого острожного тына, но и считать мне их не хотелось, хотя было в привычку. Другой уже день по острогу «шел праздник»; каторжных на работу не выводили, пьяных было множество, ругательства, ссоры начинались поминутно во всех углах. Безобразные, гадкие песни, майданы с картежной игрой под нарами, несколько уже избитых до полусмерти каторжных, за особое буйство, собственным судом товарищей и прикрытых на нарах тулупами, пока оживут и очнутся; несколько раз уже обнажавшиеся ножи, – все это, в два дня праздника, до болезни истерзало меня. Да и никогда не мог я вынести без отвращения пьяного народного разгула, а тут, в этом месте, особенно. В эти дни даже начальство в острог не заглядывало, не делало обысков, не искало вина, понимая, что надо же дать погулять, раз в год, даже и этим отверженцам и что иначе было бы хуже. Наконец в сердце моем загорелась злоба. Мне встретился поляк М-цкий, из политических; он мрачно посмотрел на меня, глаза его сверкнули и губы затряслись: «Je hais ces brigands!» – проскрежетал он мне вполголоса и прошел мимо. Я воротился в казарму, несмотря на то, что четверть часа тому выбежал из нее как полоумный, когда шесть человек здоровых мужиков бросились, все разом, на пьяного татарина Газина усмирять его и стали его бить; били они его нелепо, верблюда можно было убить такими побоями; но знали, что этого Геркулеса трудно убить, а потому били без опаски. Теперь, воротясь, я заметил в конце казармы, на нарах в углу, бесчувственного уже Газина почти без признаков жизни; он лежал прикрытый тулупом, и его все обходили молча: хоть и твердо надеялись, что завтра к утру очнется, «но с таких побоев, не ровен час, пожалуй, что и помрет человек». Я пробрался на свое место, против окна с железной решеткой, и лег навзничь, закинув руки за голову и закрыв глаза. Я любил так лежать: к спящему не пристанут, а меж тем можно мечтать и думать. Но мне не мечталось; сердце билось беспокойно, а в ушах звучали слова М-цкого: «Je hais ces brigands!» Впрочем, что же описывать впечатления; мне и теперь иногда снится это время по ночам, и у меня нет снов мучительнее. Может быть, заметят и то, что до сегодня я почти ни разу не заговаривал печатно о моей жизни в каторге; «Записки же из Мертвого дома» написал, пятнадцать лет назад, от лица вымышленного, от преступника, будто бы убившего свою жену. Кстати прибавлю как подробность, что с тех пор про меня очень многие думают и утверждают даже и теперь, что я сослан был за убийство жены моей.

Мало-помалу я и впрямь забылся и неприметно погрузился в воспоминания. Во все мои четыре года каторги я вспоминал непрерывно все мое прошедшее и, кажется, в воспоминаниях пережил всю мою прежнюю жизнь снова. Эти воспоминания вставали сами, я редко вызывал их по своей воле. Начиналось с какой-нибудь точки, черты, иногда неприметной, и потом мало-помалу вырастало в цельную картину, в какое-нибудь сильное и цельное впечатление. Я анализировал эти впечатления, придавал новые черты уже давно прожитому и, главное, поправлял его, поправлял непрерывно, в этом состояла вся забава моя. На этот раз мне вдруг припомнилось почему-то одно незаметное мгновение из моего первого детства, когда мне было всего девять лет от роду, – мгновенье, казалось бы, мною совершенно забытое; но я особенно любил тогда воспоминания из самого первого моего детства. Мне припомнился август месяц в нашей деревне: день сухой я ясный, но несколько холодный и ветреный; лето

на исходе, и скоро надо ехать в Москву опять скучать всю зиму за французскими уроками, и мне так жалко покидать деревню. Я прошел за гумна и, спустившись в овраг, поднялся в Лоск – так назывался у нас густой кустарник по ту сторону оврага до самой рощи. И вот я забился гуще в кусты и слышу, как недалеко, шагах в тридцати, на поляне, одиноко пашет мужик. Я знаю, что он пашет круто в гору и лошадь идет трудно, и до меня изредка долетает его окрик: «Ну-ну!» Я почти всех наших мужиков знаю, но не знаю, который это теперь пашет, да мне и все равно, я весь погружен в мое дело, я тоже занят: и выламываю себе ореховый хлыст, чтоб стегать им лягушек; хлысты из орешника так красивы и так непрочны, куда против березовых. Занимают меня тоже букашки и жучки, я их собираю, есть очень нарядные; люблю я тоже маленьких, проворных, красно-желтых ящериц, с черными пятнышками, но змеек боюсь. Впрочем, змейки попадаются гораздо реже ящериц. Грибов тут мало; за грибами надо идти в березняк, и я собираюсь отправиться. И ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ежиками, белками, с его столь любимым мною сырым запахом перетлевших листьев. И теперь даже, когда я пишу это, мне так и слышался запах нашего деревенского березняка: впечатления эти остаются на всю жизнь. Вдруг, среди глубокой тишины, я ясно и отчетливо услышал крик: «Волк бежит!» Я вскрикнул и вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну, прямо на пащего мужика.



Созерцатель. 1876 г. Худ. Николай Крамской

Это был наш мужик Марей. Не знаю, есть ли такое имя, но его все звали Мареем, – мужик лет пятидесяти, плотный, довольно рослый, с сильною проседью в темно-русой окладистой бороде. Я знал его, но до того никогда почти не случилось мне заговорить с ним. Он даже остановил кобыленку, слышав крик мой, и когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его соху, а другую за его рукав, то он разглядел мой испуг.

– Волк бежит! – прокричал я, задыхаясь.

Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на мгновение почти мне поверив.

– Где волк?

– Закричал... Кто-то закричал сейчас: «Волк бежит»... – пролепетал я.

– Что ты, что ты, какой волк, померещилось; вишь! Какому тут волку быть! – бормотал он, ободряя меня. Но я весь тряся еще крепче уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел на меня с беспокойною улыбкою, видимо боясь и тревожась за меня.

– Ишь ведь испугался, ай-ай! – качал он головой. – Полно, родной. Ишь малец, ай!

Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке.

– Ну, полно же, ну, Христос с тобой, окстись. – Но я не крестился; углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с черным ногтем, выпачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивавших моих губ.

– Ишь ведь, ай, – улынулся он мне какою-то материнскою и длинною улыбкой, – господи, да что это, ишь ведь, ай, ай!

Я понял наконец, что волка нет и что мне крик: «Волк бежит» – померещился. Крик был, впрочем, такой ясный и отчетливый, но такие крики (не об одних волках) мне уже раз или два и прежде мерещились, и я знал про то. (Потом, с детством, эти галлюцинации прошли.)

– Ну, я пойду, – сказал я, вопросительно и робко смотря на него.

– Ну и ступай, а я те вослед посмотрю. Уж я тебя волку не дам! – прибавил он, все так же матерински мне улыбаясь, – ну, Христос с тобой, ну ступай, – и он перекрестил меня рукой и сам перекрестился. Я пошел, оглядываясь назад почти каждые десять шагов. Марей, пока я шел, все стоял с своей кобыленкой и смотрел мне вслед, каждый раз кивая мне головой, когда я оглядывался. Мне, признаться, было немножко перед ним стыдно, что я так испугался, но шел я, все еще очень побаиваясь волка, пока не поднялся на кособор оврага, до первой риги; тут испуг соскочил совсем, и вдруг откуда ни возьмись бросилась ко мне наша дворовая собака Волчок. С Волчком-то я уж вполне ободрился и обернулся в последний раз к Марее; лица его я уже не мог разглядеть ясно, почувствовал, что он все точно так же мне ласково улыбается и кивает головой. Я махнул ему рукой, он махнул мне тоже и тронул кобыленку.

– Ну-ну! – слышался опять отдаленный окрик его, и кобыленка потянула опять свою соху.

Все это мне разом припомнилось, не знаю почему, но с удивительною точностью в подробностях. Я вдруг очнулся и присел на нарах и, помню, еще застал на лице моем тихую улыбку воспоминания. С минуту еще я продолжал припоминать.

Я тогда, придя домой от Марей, никому не рассказал о моем «приключении». Да и какое это было приключение? Да и об Марее я тогда очень скоро забыл. Встречаясь с ним потом изредка, я никогда даже с ним не заговаривал, не только про волка, да и ни об чем, и вдруг теперь, двадцать лет спустя, в Сибири, припомнил всю эту встречу с такою ясностью, до самой последней черты. Значит, залегла же она в душе моей неприметно, сама собой и без воли моей, и вдруг припомнилась тогда, когда было надо; припомнилась эта нежная, материнская улыбка бедного крепостного мужика, его кресты, его покачиванье головой: «Ишь ведь, испугался, малец!» И особенно этот толстый его, запачканный в земле палец, которым он тихо и с робкою нежностью прикоснулся к вздрагивавшим губам моим. Конечно, всякий бы ободрил ребенка,

но тут в этой уединенной встрече случилось как бы что-то совсем другое, и если б я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлую любовью взглядом, а кто его заставлял? Был он собственный крепостной наш мужик, а я все же его барчонок; никто бы не узнал, как он ласкал меня, и не наградил за то. Любил он, что ли, так уж очень маленьких детей? Такие бывают. Встреча была уединенная, в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством и какою тонкою, почти женственною нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика, еще и не ждавшего, не гадавшего тогда о своей свободе. Скажите, не это ли разумел Константин Аксаков, говоря про высокое образование народа нашего?

И вот, когда я сошел с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом и что вдруг, каким-то чудом, исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь в встречавшиеся лица. Этот обритый и шельмованный мужик, с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную силую песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце. Встретил я в тот же вечер еще раз и М-цкого. Несчастный! У него-то уж не могло быть воспоминаний ни об каких Мареях и никакого другого взгляда на этих людей, кроме «Je hais ces brigands!» Нет, эти поляки вынесли тогда более нашего!

1876

Дмитрий Григорович. Светлое Христово Воскресение

1.

Было около десяти часов ночи, когда прозвучал первый удар колокола. Звук этот, разливаясь волнистыми кругами посреди полночного затишья, не замедлил проникнуть в избушки, к совершенной радости старушек и дедов, давно уже ждавших заутрени. Не было, впрочем, человека, который не встретил бы с радостным сердцем благовеста. В эту минуту, за пять верст в округности, в самых дальних лачужках все разом встрепелось и сотворило крестное знамение. То же самое сделал пахарь Андрей из Выселок, лежавший в каком-то забытии на своей печке. Заслышав говор соседей, сбравшихся на улице, он сбросил овчину, спустился наземь, сел на лавку и начал приготавливаться в дорогу.

Угасающий, чуть вздрагивающий свет лучины озарял тусклым блеском стены и лавки избушки. Кругом было мрачно и холодно. Черный земляной пол, голые заплесневевшие стены, подпертые кое-где осиновыми плахами, кое-где вымазанные глиной; недостаток тепла, столь любимого мужичком; отсутствие горшочков, домашнего обиходного хлама и всего того, что свидетельствует о присутствии хлопотливой хозяйки или бабушки-радельницы, – показывало, что Андрей далеко не принадлежал к числу мужиков зажиточных.

Наружность самого хозяина, длинного, худого, прикрытого ветхим кожухом и сутуловато пригнувшегося к лучине, еще красноречивее подтверждала такое мнение.

Все это было совершенно справедливо; но со всем тем, тяжелое чувство с окружавшею бедностью мгновенно исчезало, как только пахарь поднимал голову. Бледное продолговатое лицо его дышало такою добротою, таким тихим, невозмутимым покоем, что невольно становилось легче на сердце.

Движение мужика, точно так же, как и глаза его, спокойно обращавшиеся вокруг, обличали нрав тихий и терпеливый. Светлое выражение, с каким прислушался он к благовесту, казалось, ясно передавало состояние мягкой и кроткой души его и еще сильнее располагало в его пользу.



Девочка. 1877 г. Худ. Алексей Корзухин

Тишина в избушке, прерываемая говором народа, спешившего к заутрене, мало-помалу распространилась над всей деревней. Стало вдруг так тихо, что можно было слышать, как ветер шумел соломой на макушке кровли. Изредка звуки колокола, то умолкавшие и как будто пропадавшие в отдалении, то внятно звучащие, как серебряная струна, проносились над избушкой...

Андрей поднялся на ноги, провел ладонью по лбу и бережно подошел к печке. Мирное, легкое дыхание, раздававшееся с печи, вызвало улыбку на губах его; он вернулся к светцу, взял лучину и, заслоня свет рукою, стал потихоньку подыматься по стремечкам.

Ослепительный блеск лучинки упал тогда прямо на девочку лет четырех, свернувшуюся клубком между трубой и перекладной. Подложив обе ручки под щечку, слегка покрасневшую, пригнув худенькие длинные ножки к локтям, она казалось миловидною даже под лохмотьями. Продолговатое личико, которому белокурые курчавые и взбитые, как пух, волосы придавали еще более худобы, было схоже во всем с лицом Андрея.

Каждая черта девочки напоминала пахаря. Заметив, что свет беспокоит сон ребенка, Андрей поспешно отвел руку с лучиной за угол, потом нагнулся к лицу девочки и, прикоснувшись слегка к плечу ее, произнес нерешительно:

– Проснись, Ласточка... слышь, блавест... пора к заутрене...

Она медленно протянула ножки и вздохнула; вслед за тем, не открывая глаз, перевернулась она на спину, закинула тоненькие свои ручки за голову и снова вздохнула. Секунду спустя, ровное дыхание ребенка известило Андрея, что Ласточка заснула еще крепче прежнего. Ему стало жаль будить ее. Спустившись наземь, Андрей прикутался потеплее в кожух, снял с шестка старый зипун, взлез на печь, завернул в него девочку и, уложив ее между своею овчинкою и грудью, сошел на пол. Он погасил лучину и вышел на улицу, плотно заперев за собою калитку.

Деревушка, к которой принадлежал Андрей, была не что иное, как выселки из большого села, лежавшего верст за пять. Выселки состояли всего-навсего из десятка лачужек, брошенных в кучу посреди неоглядных полей и болот, глухих и топких, без признака кусточка или дерева. Слева только, по дороге к селу, подымалась высокая гора, усеянная редкими стеблями тощего хвороста и перерезанная оврагами. Но гора эта уединяла еще более равнины, тянувшиеся к Выселкам. Мертвые во всякое время года, кроме разве лета, когда оживляли их хоры болотных лягушек, крики коростелей и диких уток или серые долговязые цапли, появлявшиеся кое-где на кочках, равнины не представляли покуда ни малейшего одушевления.

Андрею немного нужно было времени, чтобы оставить за собой деревню: изба его стояла второю от околицы. Пройдя по шаткой доске, перекинутой в виде моста через канавку, огибавшую гумна, он вскоре очутился на проселке, извивавшемся по направлению к горе.

Ночь была светлая. Месяц еще не зарождался, но взамен его мириады звезд дрожали в темно-синем, безоблачном небе. Хотя, по всем приметам, ждали теплой весны, мороз, однако ж, был порядочный. Овражки и колеи, обращенные во время дня в веселые, журчащие ручьи, были наполнены ледяными иглами, звонко хрустевшими под ногами. Было так тихо, что шаги Андрея, ступавшего по мерзлой дороге, отдавались за целую версту.

2.

По мере того, как Андрей приближался к горе, шаг его заметно становился медленнее; светлое выражение на лице его сменялось грустью – чувством, согласовавшимся как нельзя более с пустынною местностью.

Казалось даже, что самые звуки колокола, долгие и дребезжащие, к которым прислушивался он с такою радостью, потеряли для него свою прелесть. Да, тяжелые воспоминания должен был пробуждать в нем этот вечер!

Год тому назад, не более, шел он к той же заутрене, по той же дороге, и все улыбалось ему. Он, правда, был точно так же беден: бедней его тогда не было во всем околотке, – но что до этого! Бедность свою перемогал он терпеливо и безропотно. Он знал, что иначе не могло стать, трудно было тянуть в уровень с соседями.

В каком доме не сыщешь, кроме хозяина, хозяйки, да малых ребят, подмогу: где брат – лишние руки, где старик со старухой, где батрак наемный; у Андрея – ни того, ни другого; он да жена на все про все. Оба они не любили сидеть сложа руки или обжигаться на печке; Андрей и покойная жена его работали дружно день-деньской, норовя ни в чем не упустить: ни в поле, ни в хозяйстве. Он доволен был малым: скирда ржицы, возка два сена для лошадки, и слава тебе, Господи!

А как придет с поля домой, возьмет на руки трехлетнюю Ласточку, здоровенькую и крепенькую, сядет с нею за стол супротив горячих щец, которые приготовит бывало хозяйка, – так куда!

И весел наш Андрей, не натешится! Смирен был. Легче ему было потерять лишний клочок соломы или хвороста, чем взять то и другое нахрапом да поднять шум на улице. «Э, Господь с ними! Моим добром не разживутся!..» – скажет, бывало, махнет рукой да и поплел в избу с легким сердцем. Кроткой душе его скорее сродни были тяжелые работы по хозяйству, непокорная соха и кляча, чем мировые ссоры да выпивки. Хотя в крестьянском быту, точно так же, как во всяком другом (если еще не более), трудно взять кротостью... Как раз прослышешь простосплетенным, и сядут тебе на шею, но с Андреем жили, однако ж, ладно и безобидно.

Редкий, впрочем, не был в долгу у него: тому подсобил ось подвести, другому смастерил, всем на удивление, конька на макушку кровли или подвел узорочье под окно, третьему клячу на ноги поставил. На все был горазд, и будь сила в семье, вытянул бы не хуже другого.

Итак, Андрей жил счастливо, как вдруг, неожиданно, сразило его страшное горе: он овдовел. Беспечный и веселый, он совсем пал духом; с потерей жены он впервые почувствовал всю свою бедность. К счастью, еще, время было такое, что не долго позволяло горевать: пора стояла летняя, рабочая, что ни сутки – лишняя копна в скирде, а оплошал – ее как бы и вовсе не бывало. (Не топор кормит мужика – июльская работа!)

Андрей поднял на руки девчонку свою, проводил покойницу на погост, да скорее за серп и косу; некогда было, горькому, кулаком слез отереть. Клонит он, сердяга, свою голову, приближаясь вечером к лачужке. Уже не слышится ему знакомый шум веретена, не летит навстречу ласковое слово или веселая песня, не вьется над горшечком трубы сизой струйкой дым... нет! Уже не согреть ему души приветливый огонек лучины, когда, возвращаясь поздним зимним вечером, покрытый снегом и инеем, устремит он глаза на мелькающую вдалеке избенку! Один стал, сирота круглый; и пуще еще он клонит свою голову, войдя в пустынное жилище.

Какое житье мужику без хозяйки!.. То же, что одна лучина горит в избе – много ли свету в ней?.. Кто ж этого не знает: как одет тепло, да поешь хорошо, да лошадка сыта – на душе покойно и сработаешь лишнее. Без этого человек без духа – что вино без хмеля; сколько ни надсажайся, никакой спорины в руках не будет.

Минуло лето, минула и осень. Не успел Андрей и горе свое выплакать, как, смотрит, уж и Матрена зимняя пришла – встала зима на ноги. Подули ветры северные, принесли с собой стужу и вялицу. Лютый вихрь крутит опавшие звонкие листья, шипит и воет, обегая помертвельные поля и овражки, врываясь в ворота и потрясая до заваленок смоченную ливнем избушку. Тоска еще неотступнее запала в душу Андрея, когда лачужку его занесло сугробами снега, когда наступила зима со своими трескучими морозами.

В эту пору все поселяне сбиваются под одну кровлю, в одно родное гнездо, под один кожух, на одну печку. И тогда как лес, занесенный снегом, трещит под бременем инея, в полях темно и холодно, в теплых избушках каждая семейка – ребята, старики, отцы и матери – усаживаются вокруг лучины, начинаются длинные рассказы, – Андрей один, как воробышек, забился в темный угол на холодной печке и сидит себе нахохлившись. К тому же, в тоске начала одолевать его не на шутку бедность. Рубашонка пообносилась, кафтанишко худенький; Ласточку не во что стало прикутать, да и самому-то совестно в люди показаться. И видит Андрей близкую свою гибель, видит, что придется грызть окна да просить милостыню...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.